

В.И. Тюпа

ОНИМАПОЭТИКА «ДОКТОРА ЖИВАГО»

Гениальный поэт обладает способностью наделять свои творения именами, которые выражают их <...> Имя должно быть образом.

(Виктор Гюго)

В статье исследуется поэтика имен героев романа в свете учения П.А. Флоренского об энергетике личных имен. Выявляются глубинные аналогии между онимапоэтикой Пастернака и ономастологией Флоренского.

Ключевые слова: ономастика; семантика имен; имяславие.

Ономастика как особая область знания может развиваться с *онтологических* позиций, сформулированных Антонием Булатовичем и другими «имяславцами», а впоследствии обоснованных П.А. Флоренским, С.Н. Булгаковым, А.Ф. Лосевым, или с позиций дезонтологизированных, трактованных Флоренским как «необузданный позитивизм». Однако для онимапоэтики актуален только первый подход: если в наличии Бога как источника творческой энергии многие современные люди сомневаются, то в наличии автора, вообразившего героя и давшего ему имя, обычно сомневаться не приходится. А выбор имени для героя неизбежно несет в себе авторскую интенцию – некий импульс ментальной энергии, связываемый имяславием со всяким личным именем.

Жизнь вообразенного автором и довоображаемого читателем персонажа является неким субтекстом основного текста. Называя своего героя, автор дает заглавие экзистенциальному тексту его жизни, определяет, говоря сло-

вами Флоренского, «некоторую духовную тему» его существования, достигая порой семантической «прозрачности» имени в рамках сотворенного им виртуального мира.

Очевидным примером подобного рода «прозрачности» может служить имя Евграфа Живаго. Евграфия означает благописание, а носитель этого имени выступает в романе хранителем поэта и его рукописей, «лицом почти символическим», исполняющим роль «благодетельной и скрытой пружины жизни» (IX, 9) пишущего человека, впоследствии составляющим «тетрадь Юрьевых писаний» (XVI, 5).

Всякое личное имя служит апеллятивной границей внутреннего бытия, омываемого внешним бытием других. Со стороны другого то или иное имя невольно вызывает некоторую предварительную психологическую установку, которая существенно корректируется в ходе общения. Известного рода установку самоопределения и самооценки собственное имя порождает и у его носителя. Тем самым, с позиций имяславия, имя человека определяет в известных пределах его личность и судьбу: «В житиях, прологах, церковных песнопениях многочисленны указания о ярком выражении святым духовной сущности своего имени. “По имени и житие” – стереотипная формула житий; по имени – житие, а не имя по житию. Имя оценивается <...> как *тип*, как духовная конкретная *норма* личностного бытия, как *идея*, а святой – как наилучший ее выразитель, свое эмпирическое существование соделавший прозрачным»¹.

Имя персонажа – это граница его присутствия в воображенном мире произведения, своего рода межевой столб его экзистенции. Во внутреннем пространстве индивидуального бытия (по ту сторону апеллятивной границы) обнаруживается не только эмоционально-волевая субъективность «я», но и

концентрат *прецедентного* интерсубъективного содержания данного этому субъекту имени.

Даже окказиональные имена-клички американских индейцев или запорожских казаков обнаруживали свой прецедентный семантический субстрат в том явлении, наименование которого переносилось на человека. В случае же достаточно традиционного имени, его семантический вектор веками складывается из множества проб личностного существования под этим именем. Это процесс длительный и основательный, подобный зрительно неуследимой жизни растительного царства природы. Даже по поводу такого устоявшегося имени, как Глеб, Флоренский записывает (с чужих слов): «Имя не древнее, поэтому еще недостаточно определившееся, не вполне оформленное».

В рамках христианской культуры, к которой принадлежит роман Пастернака, стержнем прецедентного содержания имени выступает личность и судьба святого, носившего это имя и становящегося покровителем своего соименника. Из этого источника, прежде всего, и выводил Флоренский в своей «метафизике имен» их семантику. Независимо от того, в какой мере Пастернак прислушивался (и прислушивался ли вообще) к аргументации «имяславцев», в «Докторе Живаго» эта неявная мотивировка персонального названия героев весьма глубока и существенна.

Что касается центрального героя, то в соответствии с его именем святым заступником в данном случае предполагается Георгий (Егорий) Победоносец (Змееборец), в русской традиции считавшийся покровителем Москвы. Если не учитывать этого момента, трудно объяснить одну из заключительных прозаических фраз романа, где Москва называется «главную героиней длинной повести, к концу которой они (Гордон и Дудоров – *В.Т.*) подошли» (XVI, 5). Сочинение Юрием Андреевичем (св. Андрей, как известно, считался покровителем России) стихотворения «Сказка» является ничем иным, как по-

этической экспликацией героем базового прецедента собственного жизненного пути. В сведениях о раннем детстве Живаго эхом отзывается знаменательное обстоятельство из жития св. Георгия Каппадокийского: он был духовно близок с матерью (тайной христианкой) и чужд отцу (видному сановнику Римской империи, губернатору Каппадокии).

Флоренский полагал, что имя Георгий придает названному так человеку «активность, в лучшем случае объективно направленную на высшие цели, в худшем – на устройство собственных жизненных дел». Очевидно, что в романе Пастернака мы имеем дело с этим «лучшим случаем». По мнению Флоренского, Георгий «упорен, но это не неуклонность вождевающей воли <...> в которой открывается темная сторона бытия». Последнюю особенность Флоренский соотносил со своим собственным именем Павел. Несомненно при этом, что Павел Стрельников принадлежит к числу именно такого рода носителей «неуклонно вождевающей воли».

Приложима к Живаго и следующая характеристика Флоренским тех, чье имя вручает их попечительству св. Георгия: «...в своем “хочу” довольно односторонен, он не видит других сторон дела, или скорее не хочет видеть в данный момент»; «он вынуждает, вымогает из недр творческих природы то, чего хочет». И даже этимология этого греческого имени – земледел – оживает и актуализируется в девятой части романа («Варыкино»), содержащей дневник героя, где, в частности, записано: «Какое счастье работать на себя и семью с зари до зари <...> возделывать землю в заботе о пропитании» (IX, 1).

Однако в тексте романа Живаго зовут Юрием. У этого варианта занимающего нас имени имеются свои семантические обертоны. День св. Георгия (26 ноября по ст. ст.) именовался «Юрьевым днем», в который средневековые русские крестьяне были вольны покинуть своего владельца. При актуализации данного семантического субстрата имя Юрий может означать свободного

человека. Именно таков (во всяком случае, внутренне свободен) главный герой произведения. В том же дневнике, например, записано: «Я отказался от медицины <...> чтобы не связывать своей свободой» (IX, 1). А в прозаическом финале романа состарившимся друзьям поэта кажется, что «свобода души пришла», и книжка его стихов «как бы знала это и давала их чувствам поддержку и подкрепление» (XVI, 5).

Небезынтересно, что диалектное слово *Юрик* означает вырванное с корнем дерево², а диалектное *Юрiть* – метаться во все концы³. Эти оттенки семантики в данном случае также могут быть актуализированы по отношению к романному герою Пастернака.

Далее обратимся к фигурам трех женщин Юрия Живаго. Весьма знаменательно, что святые покровительницы всех трех жили в одно время со св. Георгием (рубеж III–IV вв., эпоха яростного гонения на христиан накануне воцарения легализовавшего христианство Константина) и в одном с ним регионе (Малая Азия).

Обе канонизированные Антонии – великомученицы за веру, современницы; одна из них почитается в паре со св. Александром, подменившим ее в темнице накануне предполагавшегося поругания и затем сожженным вместе с нею. Едва ли есть необходимость напоминать, что отец, сын и даже дед жены доктора – Александры.

Св. Марина – несовершеннолетняя великомученица за веру. Во время пыток огнем и железом просила у Бога воды святого Крещения и в насмешку была утоплена в бочке, но вышла из купели полностью исцеленной от ран; впоследствии обезглавлена. С этими обстоятельствами знаменательно перекликаются и разница в возрасте, побуждающая романную Маринку обращаться к отцу своих детей по имени-отчеству; и сблизившее их *водоношение*, обернувшееся «романом в двадцати ведрах» (XV, 6); и даже ее поведение по-

сле смерти Живаго (она ударяется «головой о край» ларя, а после «была невменяема, ничего не говорила и себя не помнила» (XV, 14), словно обезглавленная).

Св. Лариса – безвестная великомученица за веру, о жизни которой сведений не сохранилось; сожжена в храме во время тайного богослужения среди 308 человек, чьи имена остались неизвестными. Напомню заключительные слова о жизни Лары: «умерла или пропала неизвестно где, забытая под каким-нибудь безымянным номером из впоследствии запропастившихся списков» (XV, 17).

В литературе о романе уже было замечено, что сюжетная линия Комаровского и Ларисы зарождается как типичный сюжет Достоевского⁴. К этому можно прибавить прозрачную именную аллюзию к «Бесприданнице» Островского. Однако пастернаковское воплощение женственности – иной природы, как и вся вообще неклассическая художественность его произведения.

В качестве второй (взаимодополнительной) прецедентной фигуры для возлюбленной главного героя может быть представлена Лаиса – древнегреческая гетера, чьей любви добивались видные интеллектуалы своей эпохи, в частности, Диоген и Демосфен. В поэзии пушкинской поры это имя использовалось как нарицательное, в том числе и самим Пушкиным: «Лаиса, я люблю твой смелый вольный взор, / Неутолимый жар, открытые желанья, / И непрерывные лобзанья, / И страсти полный разговор» (1819)⁵. В романе есть знаменательная фраза: «Ему страшно нравилось все, что она говорила» (XIV, 7). Вообще повествователем постоянно подчеркивается не только физическая («ошеломляюще хороша»), но и духовная, в том числе интеллектуальная привлекательность Лары для Живаго.

Главенствующая прецедентная фигура для мужа Лары, конечно, апостол Павел. Перемена персонажем фамилии прозрачно соотносится с переме-

ной имени Саул (Савл) на Павел. Однако здесь имеет место очевидная инверсия: если св. Павел из гонителя превратился в апостола, то Паша Антипов становится как раз гонителем, Расстрельниковым.

Павел Флоренский в своем анализе семантики личных имен наибольшее внимание, естественно, уделил своему собственному имени. Многие из его характеристик весьма актуальны и для романного героя. Приведу некоторые из них: «Павел есть прежде всего <...> чистая воля <...> напор воли»; он «ощущает себя на краю всепоглощающей бездны»; «отдача себя грозной и все же родимой <...> стихийной бездне <...> всегда делается с решимостью окончательной гибели и полного растворения в мировой первооснове»; стихийный напор, составляющий первооснову этого имени, «не знает ни морали, ни права, ни гигиены, ни благоразумия, ни расчетов», поэтому Павел в своем влечении легко «выйдет за границу дозволенного человеческим законом»; его поведение «наступательно и раскрывается как деятельность вопреки миру и против мира». «Павел борется с человеком ради него самого, но остается всегда непонятым»; при этом «он не эмпирического хочет <...> предмет его томления – совершенная форма»; «когда поднялся огненный прилив свободы, Павел не считается ни с чем внешним <...> при отливе же <...> ясно знает, что он – лишь оскудевший и ненужный сосуд»; «перестрадав, от боли делает усилие – или довершить начатое действие или же отрезать его от себя <...> его не остановит тут враждебная оценка такого действия, освободительного для него». Трудно удержаться от мысли, что перед нами своего рода конспект характера и романной судьбы Павла Павловича Антипова-Стрельникова.

И даже совершенно эпизодический Павел из первой части романа (сторож книгоиздательства, временно исполняющий роль кучера) выглядит своего рода мимолетной пародией на очерченный Флоренским характер.

Однако Лара зовет своего мужа иначе: *мальчиком Пашей, Пашенькой и Патулей*. В связи с этой очевидной для нее детскостью нестигаемого революционера возникает инверсированная аллюзия: наиболее известный в советской истории носитель этого имени Павлик Морозов губит своего отца, тогда как в романе Павел Феррапонтович Антипов – член революционного трибунала, приговаривающего Стрельникова к расстрелу.

В то же время Патуля – имя комического персонажа песенного фольклора анархистов, возникшего в годы гражданской войны на основе популярных в 1910–20 гг. сценок немоего кино, эстрады и цирка, разыгрываемых между Патом и Паташоном. Указанная аллюзия перестает казаться безосновательной, если взглянуть на молодого фронтовика Антипова глазами Юсупа Галиуллина: «Из застенчивого, похожего на девушку и смешливого чистюлишалуна вышел нервный, все на свете знающий, презрительный ипохондрик» (IV, 9).

Имя Виктор Флоренским не анализировалось, однако этимология его прозрачна. Человек, от рождения именуемый победителем, закономерно становится предприимчивым, деятельным экстравертом и прямолинейно достигает поставленных перед собой целей. Но цели эти преимущественно сугубо практические, повседневные. Удачливого и непотопляемого Виктора Ипполитовича Комаровского Лара называет *чудищем заурядности и страшилищем пошлости* (XV, 14).

Особый интерес представляет отчество данного героя. Пастернак в романе часто удваивает онима-характеристики персонажей, если имя не нуждается в дополнительных оттенках смысла, привносимых отчеством: Павел Павлович, Николай Николаевич, Александр Александрович, Иван Иванович. Однако отчество Виктора Ипполитовича знаменательно компрометирует победительную семантику его имени, вступая в переключку с романной харак-

теристикой поэзии Маяковского⁶: «...какое-то продолжение Достоевского. Или вернее, это лирика, написанная кем-то из его младших бунтующих персонажей, вроде Ипполита» (VI, 4) – этого воплощения самовлюбленности и обреченности.

В контексте изысканий Флоренского воспринимаются абсолютно закономерными и даже как бы единственно возможными имена матери героя (Мария), которую Юра звал *с неба* (I, 6), и его второй, земной, приемной матери (Анна). По оценке Флоренского, имя Мария – «самое женственное, равновесное и внутренне гармоничное, доброе. На втором месте стоит Анна»; это имя «тоже очень хорошее, но с неуравновешенностью, преобладанием эмоций над умом», некоторой наивностью и тягой к авторитетным разъяснениям. (Ср. просьбу Анны Ивановны к своему будущему зятю: «Скажи мне что-нибудь... Успокой меня», III, 3).

В фигуре религиозного философа Николая Николаевича Веденяпина также легко опознаются многие умозаключения Флоренского относительно имени Николай: «всеобщечеловеческие отношения заботят Николая»; он рассматривает «построение жизни в ее фундаментах» и «доверяет лишь разуму, – не только своему, но и Божьему»; «слишком далекий от бытия <...> верит лишь в те божественные силы, которые открываются в сознательной деятельности устрояющего человеческого разума». Напомню авторскую характеристику: «Он жаждал мысли, окрыленно вещественной, которая прочерчивала бы нелицемерно различимый путь в своем движении и что-то меняла на свете к лучшему» (I, 4).

Слова Флоренского о «долге благодетельства», возникающем у Николая «как побочный продукт его настоящей доброты», а также о том, что «доброта Николая не есть нравственный импрессионизм», перекликаются с заботой Веденяпина о племяннике и с его нравственной проповедью («во-

первых, любовь к ближнему, этот высший вид живой энергии, переполняющей сердце человека и требующей выхода и расточения», I, 5).

Даже периферийные замечания Флоренского: «взгляд на окружающих, как у школьного учителя на учеников», «горячий по всему своему складу» – отзываются в романе горячностью веденяпинского философствования («Уф, аж взопрел, что называется. А ему хоть кол теши на голове!», I, 5).

Персонажи второго ряда также носят глубинно значимые имена, природа которых иногда принципиально иная (например, выморочное, беспочвенное имя Ливерий). А если их имена толкуются Флоренским (таковы Александр Громеко, Иван Воскобойников, Елена Микулицына), то и они демонстрируют совпадения, аналогичные рассмотренным выше.

Знакомство Пастернака с не публиковавшейся в советское время ономастологией Флоренского весьма проблематично. Поэтому поразительные порой созвучия теоретических выкладок философа и внутренних укладов вообразенных писателем личностей свидетельствуют, конечно, не о зависимости романиста от философа, но, скорее, о небезосновательности ономастических интуиций Флоренского, аналогичных творческим интуициям художника.

¹ Здесь и далее ономастология Флоренского цитируется по изданию: *Флоренский П.А. Имена*. М., 2000. URL: http://www.catholic.uz/tl_files/library/books/Florenski_names/ (дата обращения 7.09.2011).

Zdes' i dalee onomatologija Florenskogo citiruet'sja po izdaniju: *Florenskij P.A. Imena*. М., 2000. URL: http://www.catholic.uz/tl_files/library/books/Florenski_names/ (дата обращения 7.09.2011).

² *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. 4. М., 2004. С. 533.

Fasmer M. Jetimologičeskij slovar' russkogo jazyka: v 4 t. Т. 4. М., 2004. S. 533.

³ *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 4. СПб., 1996. С. 668.

Dal' V.I. Tolkovyj slovar' zhivogo velikoruskogo jazyka: v 4 t. Т. 4. SPb., 1996. S. 668.

⁴ К.М. Поливанов отмечал ««достоевскоподобный» клубок отношений Лары, ее оскорбителя Комаровского и брата Родиона» (*Поливанов К.М.* Пастернак и современники. М., 2006. С. 256).

К.М. Polivanov otmechal «“dostoevskopodobnyj” klubok otnoshenij Lary, ee oskorbitelja Komarovskogo i brata Rodiona» (*Polivanov K.M. Pasternak i sovremenniki*. М., 2006. S. 256).

⁵ *Пушкин А.С.* «Лайса, я люблю твой смелый, [вольный] взор...» // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 16 т. Т. 2. Кн. 1. Стихотворения, 1817–1825. Лицейские стихотворения в позднейших редакциях. М.; Л., 1947. С. 75.

Pushkin A.S. «Laisa, ja ljublju tvoj smelyj, [vol'nyj] vzor...» // Pushkin A.S. Polnoe sobranie sochinenij: v 16 t. Т. 2. Кн. 1. Stihotvorenija, 1817–1825. Licejskie stihotvorenija v pozdnejshih redakcijah. М.; L., 1947. S. 75.

⁶ О параллели Комаровский / Маяковский см.: *Смирнов И.П.* Роман тайн «Доктор Живаго». М., 1996.

О paralleli Komarovskij / Majakovskij sm.: *Smirnov I.P.* Roman tajn «Doktor Zhivago». М., 1996.